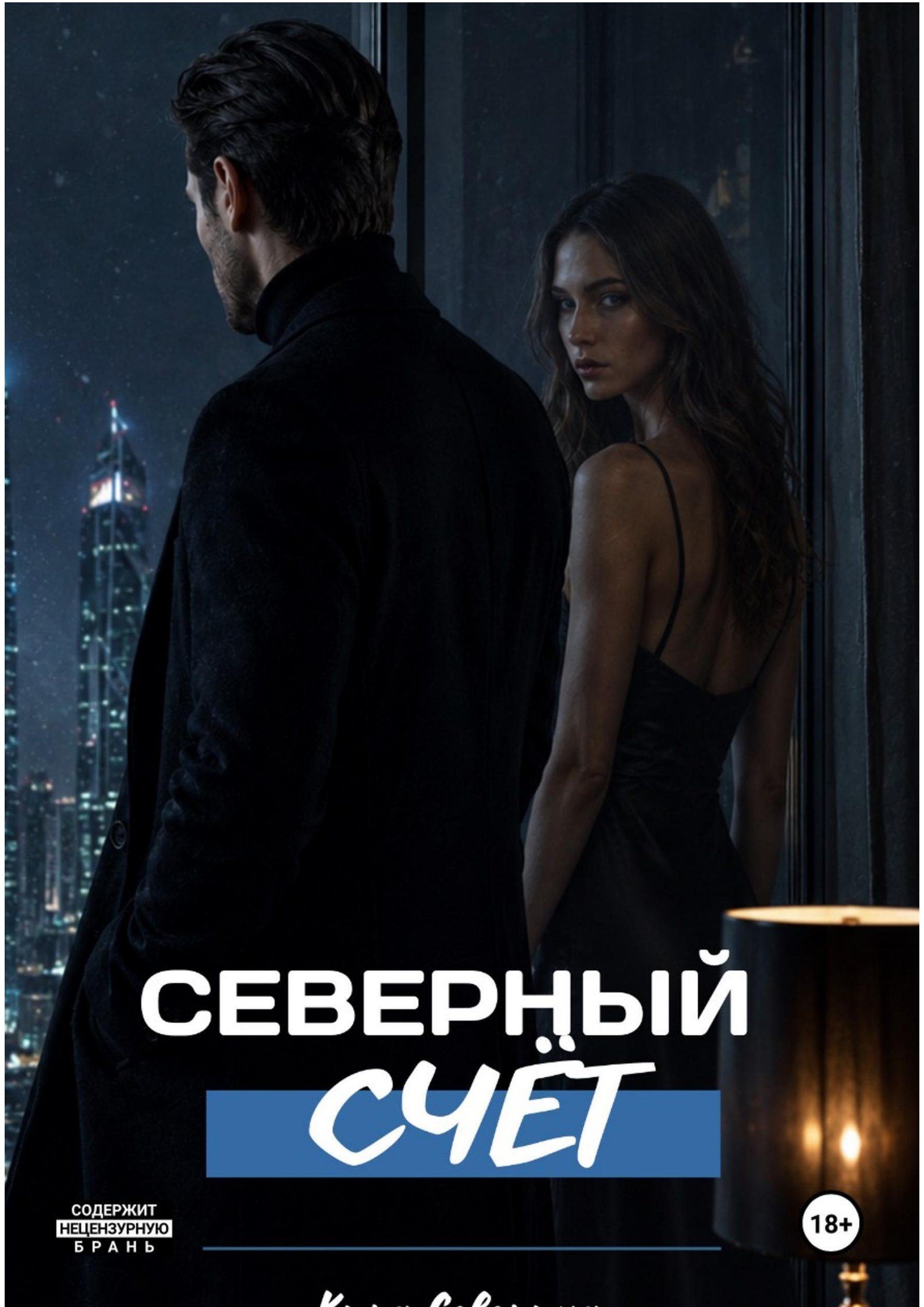




# СЕВЕРНЫЙ СЧЕТ

СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

18+

Кира Савченко

Кира Северина  
**Северный счёт**

«Автор»

2026

## Северина К.

Северный счёт / К. Северина — «Автор», 2026

Меня легко не заметить. Две косички, большие очки, тихая в углу. Меня это устраивает: когда тебя держат за тихоню, ты видишь всех — а тебя не видит никто. Я молчу не потому, что робею. Я молчу, потому что считаю. И считаю уже десять лет. Десять лет назад один очень успешный мужчина сделал крайним моего отца. Он потерял фирму, имя, всё. А потом и себя. Я знаю имя этого мужчины. Знаю этаж, на котором он пьёт вино в одиночестве. Знаю, как подойти близко. И точку невозврата я заложила сама — без кнопки «отмена». Я слишком хорошо себя знаю, чтобы оставлять себе выбор. Я просчитала всё. Кроме одного. Что он окажется так же пуст, как я. Что он первым увидит во мне не тихоню — равную. И что выстрел, который уже не отозвать, я сделаю ровно тогда, когда перестану хотеть стрелять. Счёт закрывают двумя способами. Я всю жизнь знала только один. Третья книга серии «Северные». Не ждите лёгкости «Кода» и дерзости «Игры»: здесь тише, взрослее и больнее. Смех остался, но теперь сквозь зубы. Ваша Кира

© Северина К., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1 : Константа               | 5  |
| Глава 2 : Точка входа             | 8  |
| Глава 3 : Я бы запомнила          | 11 |
| Глава 4 : Без отмены              | 14 |
| Глава 5 : Чужой дом изнутри       | 17 |
| Глава 6 : Ещё не сейчас           | 20 |
| Глава 7 : Тело                    | 23 |
| Глава 8 : Не всплыло              | 25 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 27 |

# Северный счёт

## Глава 1 : Константа

[ Игорь ]

Я не тороплюсь.

Это не выдержка и не философия. Это профессия. Человек, который торопится, не видит выходов. А я много лет — сначала в одной форме, потом в другой — занимаюсь только тем, что вижу выходы. В любой комнате, в любом здании, в любом человеке. Где вошёл. Где выйдет. Что сделает между этими двумя точками.

Двадцать четвёртый этаж. Угловой кабинет, который я выбрал не за вид, а за то, что от него видно оба лифтовых холла и обе лестницы. Стена мониторов. Я сижу к ним спиной — мне не нужно смотреть, мне нужно, чтобы они были. Чай остывает с утра, я про него забываю. Я вообще про многое забываю, кроме одного: кто сейчас в здании и зачем.

В холдинге меня зовут танком. Я не возражаю. Танк — это не про скорость. Танк доедет туда, куда решил, и его по дороге ничто не остановит.

У меня два маршрута: дом — офис и обратно. Больше мне не нужно. Всё, что я держу в поле зрения, само приходит в одно из двух зданий, в которых я бываю.

И почти всё, что приходит, я могу закрыть.

*Почти.*

У меня есть одна незакрытая позиция.

Кирилл сказал бы «позиция» — это его слово, финансовое. Я скажу проще: риск. Открытый, живой, ходит по двадцать второму этажу в коричневом джемпере, носит две косички и большие очки.

Соня Климова. Разработчик. Её зарплату Полина выбивает на каждом пересмотре.

За год я изучил её, как изучают всё, что не закрыл. Она садится спиной к стене, лицом к проходу — всегда, в любой переговорке; так садятся не разработчики, так сажусь я. Она уходит последней и никогда не входит в лифт первой. Она ни разу не посмотрела в камеру — не отворачивается, нет, просто знает, где они, и проходит так, что в кадре только затылок. Этому не учат на курсах. Этому учит жизнь, в которой надо быть невидимым.

Все в здании уверены, что знают про неё всё. Тихая. Умная. Безобидная. Любимица Полины.

Я единственный знаю, что Климова — не Климова.

Я знаю это год с небольшим. И я единственный, кто не закрыл этот риск, хотя обязан был в первый же день. Открытый риск либо устраняют, либо докладывают. Я не сделал ни того, ни другого.

Я просто смотрю.

Я расскажу, как это было. Один раз. Себе. Вслух я это не рассказывал никому — даже Артёму. Особенно Артёму.

Прошлый ноябрь. Полина у нас работала уже несколько месяцев, и я делал то, что делаю редко: копал внутрь, не наружу. Новый сеньор, большие доступы — я по привычке проверял всех вокруг неё. Климова была в списке двенадцатой. Формальность.

Я открыл её настоящие документы в три часа ночи, дома, не зажигая света, кроме экрана.

Девичья фамилия матери поверх отцовской.

Гущин.

Эту фамилию я носил в себе десять лет. Не как имя — как цифру в отчёте, который мы с Артёмом закрыли в две тысячи пятнадцатом. «Подрядчик». Маленький. Тот, на кого легло всё,

когда Глеб решил кое-что обойти. Мы тогда занимались Глебом. Подрядчиком не занимался никто. Он к тому моменту уже всё потерял, а через год его не стало.

У подрядчика была дочь.

Дочь сидела на двадцать втором этаже, в коричневом джемпере, и писала нам код.

Я человек, которого трудно сдвинуть с места. В ту ночь меня *сдвинуло*.

На следующий день я её нашёл.

Не вызвал — вызов означал бы протокол, протокол означал бы доклад, а докладывать я был не готов. Я просто встал в коридоре так, чтобы она вышла на меня. Конец рабочего дня, окна уже чёрные, в коридоре пусто и горит дежурный свет — половина ламп. Она шла с папками, быстро, глядя под ноги.

Я сказал одно слово.

— Гущина.

Не «здравствуйте». Не «зайдите». Одно слово — имя, которое она десять лет прятала под материнским.

Она остановилась. Я много лет читаю лица и видел на людях всё: страх, ложь, блеф, мольбу. На её лице не было ничего из этого.

Было узнавание. Спокойное. Как будто она ждала это слово не от меня — вообще. Давно. Каждый день. И я просто оказался тем, кто наконец его произнёс.

Она побледнела. Не от испуга — я потом понял: от того, что её просчитали. Человек, который всё просчитал сам, впервые столкнулся с тем, что просчитали и его.

Несколько секунд мы стояли друг напротив друга в пустом коридоре. Она ничего не сказала. Прижала папки к груди, развернулась и ушла.

А я — я, который не торопится, — дошёл до лифтов так быстро, как не ходил за все годы в этом здании. Мне нужно было на воздух. Мне впервые не хватало его в собственном офисе.

Одно дело — закрыть в пятнадцатом «неточность» и «подрядчика». Цифры. Другое — стоять напротив девочки с косичками и понимать, что под твоей цифрой был человек. У которого осталась она.

Я не написал ей в тот вечер. И на неделе не написал. Я смотрел и молчал — полгода.

Полгода я видел её каждый день и знал то, чего не знала она: что я знаю. Она пила чай у окна, уходила последней, садилась спиной к стене — и не догадывалась, что один человек в здании теперь смотрит на неё иначе. Так я устроен: пока не увижу всю картину, хода не делаю.

А потом был один семейный вечер — не мой, чужой, куда меня позвали как своего. Тёплый. Из тех, где у людей наконец всё складывается. И вот там, в чужой прихожей, надевая куртку, я достал телефон.

Я мог написать «нам надо поговорить». Мог — «я доложу руководству». Мог не писать ничего.

Я написал:

*«Я знаю, кто ты. Я знаю, чья ты дочь. Я никому не сказал и не скажу. Если тебе когда-нибудь будет нужен человек — я на двадцать четвёртом».*

Она не ответила. Я и не ждал.

Я сунул телефон в карман и поехал домой по одному из двух своих маршрутов.

Я не закрыл риск. Я взял его под опеку.

Не потому, что она мне кто-то — она мне никто, мы обменялись, может, десятью фразами. А потому, что мы с Артёмом в пятнадцатом поступили чисто по бумагам и грязно по совести, и счёт за это нам выставит именно она. Видеть её приближение — меньшее, что я обязан.

Я ошибся в одном.

Я думал, что опекаю её. А на деле просто сел в первом ряду — смотреть, как заряженное ружьё медленно поднимают к плечу.

Сейчас декабрь. Год с лишним спустя. За окном рано темнеет, на стекле — отражение моих мониторов.

И ружьё начало двигаться.

Три недели назад на корпоративе в «Лесной» к Климовой подошёл человек, которого в зале не ждал никто. Высокий, в дорогом, с лицом, которое десять лет жило с обидой. *Глеб Сторожев*. Подошёл сам — не она к нему. Я стоял у дальней стены, где стою всегда, и видел всё от первой секунды до последней.

Я не верю в совпадения по таким адресам.

Дочь человека, которого погубила ошибка Глеба, два года тихо сидит в холдинге, который Глеба выгнал. А теперь к ней подходит сам Глеб. И с тех пор — я проверил — он собирает по ней информацию. Лично. Не алгоритмами. Сам.

Двое с одним и тем же незакрытым счётом тянутся друг к другу, не зная пока, что стоят с разных концов одной истории.

Я знаю обоих. И знаю, чем это кончается, когда два таких человека оказываются в одной комнате.

Кириллу я сказал. Одному. Артёму — значит вскрыть пятнадцатый, а к этому я не готов до сих пор.

Но я чувствую, как сдвигается воздух. Так же, как сдвинулся он в ту ночь, когда я прочёл её фамилию.

Соня Гущина что-то заложила. Не знаю что. Не знаю когда. Знаю одно: она слишком умна, чтобы просто сидеть и ждать, и два года ждала не зря.

Я почти двадцать лет держу выходы.

Впервые у меня в здании есть дверь, за которой я не вижу, что произойдёт.

И стоит за ней тихая девочка с косичками, которая считает лучше меня.

## Глава 2 : Точка входа

[ Соня ]

В одиннадцать сорок наш старший, Костя, в третий раз за утро объяснил мне, как устроен один кусок нашей программы.

Я слушала. Кивала. Поправила очки. За окном опенспейса висел серый декабрьский полдень, в котором не разобрать, утро ещё или уже вечер, — в Москве в декабре свет такой весь короткий день. Гудели кулеры, где-то смеялись у кофемашины, кто-то грел в микроволновке обед, и запах чужой еды плыл над столами. Обычное утро. Я сказала «спасибо, теперь понятнее» голосом, который держу для таких случаев, — на полтона тише обычного, с лёгкой неуверенностью в конце фразы.

Костя ушёл довольный. Костя меня любит. Костя считает, что я толковая, но робкая, и что меня надо поддерживать.

Этот кусок я написала *сама*. Полтора года назад, ночью, за один присест. Костя об этом не знает — я тогда не стала ставить своё имя. Я редко ставлю своё имя.

Так удобнее. Когда тебя держат за ту, что путается даже в простом, тебе показывают всё. Я за два года в этом здании узнала, у кого пароль приклеен к монитору на жёлтой бумажке (у троих), кто уходит раньше всех и не закрывает компьютер (у начальника соседнего отдела), кто на чьём месте сидит, кто кого боится, у кого ключ от серверной лежит в верхнем ящике без замка. Меня всему этому никто не учил. Мне это всё показали сами — потому что людям спокойнее рядом с тем, кто, как им кажется, глупее. Они расслабляются. Они оставляют двери открытыми.

Я два года хожу по этому офису сквозь открытые двери. Тихо, в коричневом джемпере, с двумя косичками, мимо камер, которых будто не замечаю. Меня здесь видят все и не помнит никто. Это я и строила.

Меня зовут Соня Климова.

Климова — фамилия моей мамы. Я взяла её в восемнадцать, когда поняла, что с другой фамилией меня не возьмут туда, куда мне надо. С другой фамилией я слишком заметна. А мне нельзя быть заметной — мне нужно быть точной.

Это разные вещи. Заметность — это шум. Точность — это тишина. Я всю свою сознательную жизнь глушу в себе шум, чтобы осталась тишина, в которой я не ошибаюсь.

Десять лет я довожу один и тот же расчёт. Я начала его, когда мне было пятнадцать и когда у меня в один год не стало сначала папиной фирмы, потом папиного имени, а потом и папы. Тогда расчёт был детский, на эмоциях, с ошибками. Я его за десять лет переписала набело. Убрала из него гнев — гнев это шум. Убрала из него спешку — спешка это шум. Оставила только нужное: начало, середину, конец — и ничего лишнего между ними. Как в хорошем чертеже.

Папа так и работал. У него на столе всегда был порядок: карандаши по росту, чертежи в тубусах подписаны, каждая цифра проверена дважды. Я в детстве сидела рядом и смотрела, как он считает, и думала, что взрослые так и живут — аккуратно, честно, дважды проверяя. Потом я узнала, что так живут только те, кого потом убивают те, кто живёт иначе.

Я не буду здесь говорить, что именно я считаю. Кто умеет читать — прочтёт и так. А кто меня держит за тихоню — пусть держит дальше. Мне это удобно.

Скажу одно: у меня всё готово. Давно. Я заложила это так, что отозвать уже нельзя — даже мне. Особенно мне. Я слишком хорошо себя знаю.

Осталась одна переменная.

Его зовут так, что я десять лет не произношу это имя вслух.

Сегодня переменная сдвинулась.



Три недели назад, на корпоративе, он подошёл ко мне сам. Я к этому шла два года — не к нему лично, а к тому, чтобы он подошёл сам. Чтобы это была его инициатива, его интерес, его шаг. Я не охочусь так, чтобы было видно охотника. Я делаю так, чтобы добыча сама пришла и села напротив, уверенная, что это она меня выбрала.

Приманка была простая и красивая. Одно решение — из тех, что в нашем деле встречаешь раз в несколько лет: чисто, точно, ни одной лишней детали. Я выложила его так, чтобы оно как бы случайно попало туда, где он его увидит. Я знала, что увидит. У него на такие вещи глаз — это знают все, кто вообще хоть что-то про него знает. Я знала, что он не сможет пройти мимо.

Я ждала три недели. Я умею ждать — это, наверное, единственное, что я умею лучше всех на свете. Десять лет ожидания приучают к тому, что ещё три недели — пустяк.

И сегодня утром, в начале десятого, пришло письмо. Не от хедхантера. Не через отдел. Лично, на мою рабочую почту, с адреса, которого нет ни в одной открытой базе, — я проверяла.

*«Софья. У меня есть к вам разговор о работе, который не стоит вести в чужом здании. Машина будет внизу в семь. Если нет — просто не выходите, я пойму. Г.С.»*

Я перечитала его дважды. Не потому, что не поняла с первого раза — я всё понимаю с первого раза. Потому что десять лет шла к этим четырём строчкам и хотела побыть в них ещё секунду.

«Софья». Не «Соня». Он один из всех зовёт меня полным именем — потому что он со мной ещё не знаком, а я для него пока строчка в его расчёте. Как он для меня — переменная в моём.

Двое людей считают друг друга. Только он не знает, что его уже посчитали. Десять лет назад. До конца.

Я перечитала письмо ещё раз и удалила. Из почты, из корзины, отовсюду — привычка.

Руки не дрожали. Я специально посмотрела на свои руки — так, как смотрю на чужую работу, прежде чем на неё положиться. Ровные. Я положила их на стол ладонями вниз, подержала, ещё раз убедилась. Ровные.

Хорошо. *Значит, я готова.*

Есть в этом здании один человек, который знает, кто я.

Он узнал год с лишним назад. Подошёл ко мне в пустом коридоре, под вечер, и сказал одно слово — мою настоящую фамилию. Не «здравствуйте». Не «зайдите». Просто фамилию, тихо, как кладут на стол козырь, которым не собираются бить.

Я тогда побледнела. Не от страха. От того, что меня посчитали первой. Я десять лет считаю всех — и впервые кто-то сосчитал меня. Это было неприятно, как ошибка в расчёте, который я считала безупречным.

Потом, через полгода, он написал. «Я знаю, кто ты. Я никому не сказал и не скажу. Если будет нужен человек — я на двадцать четвёртом».

Я не ответила.

Но я не удалила это сообщение. У меня привычка стирать всё — переписки, письма, следы; я живу, не оставляя за собой ничего, как папа учил подписывать чертежи и убирать черновики. А это сообщение не стёрла. Оно единственное, что я за два года оставила. Я сама не знаю почему. Иногда перечитываю.

Я до сих пор не решила, что он мне — риск, который придётся закрыть, или единственный человек на земле, который смотрит на меня и видит. Не Климову. *Меня.*

Игорь Корсаков. Шеф безопасности. Человек, который не торопится.

Я знаю, что он смотрит, как я иду к лифту, — я всегда знаю, кто на меня смотрит, это во мне с пятнадцати лет, с тех пор, как пришлось научиться. Он не остановит. За год с лишним он изучил меня достаточно, чтобы понять: остановить меня нельзя. Меня можно только сопровождать до конца.

Я думаю, он это и делает. *Сопровождает.*

Я однажды ему за это скажу спасибо. Если останусь той, кто умеет говорить спасибо.

Без десяти семь я надела пальто, шарф, спустилась на лифте, кивнула охране на вахте — той кивает Климова, тихая, незаметная, идёт домой, как всегда позже всех.

В семь ноль ноль я вышла из здания.

Декабрьский вечер был сухой и злой, с тем колючим ветром, который в Москве выметает с площади между башнями всех, кому некуда деться. Внизу, у тротуара, стояла машина с заглушённым мотором и тёплым светом в салоне.

Не «Бентли». «Бентли» он бережёт для тех, на кого хочет произвести впечатление, — я уже знаю про него и это. Мне он прислал обычный чёрный седан с водителем, потому что меня, по его расчёту, впечатлять не нужно: я тихий толковый разработчик, которого он перекупает. Он точен. Он почти всегда точен.

Это нас с ним роднит. И это его погубит.

Водитель вышел, обошёл машину, открыл мне заднюю дверь. На меня пахнуло теплом, кожей салона, чужим дорогим воздухом — воздухом его мира, в который я десять лет прокладывала себе вход.

Я постояла секунду на холоде. Один вдох. Последний на этой стороне.

И сделала то, к чему шла десять лет.

Я села в машину человека, который убил моего отца.

И пристегнулась.

Потому что я аккуратная.

Это у меня от *папы*.

## Глава 3 : Я бы запомнила

Машина шла через ночной город минут двадцать, и все двадцать я смотрела в окно.

Не на город — на себя в отражении поверх города. Огни летели мимо, дробились в стекле, ложились на моё спокойное лицо в очках, и я проверяла это лицо, как перед экзаменом проверяют, не забыл ли чего. Ровное. Тихое. Никакое. Лицо человека, которого везут на собеседование, а не лицо человека, которого десять лет везли к этой минуте все её прожитые дни.

Водитель молчал. Хороший водитель — из тех, кого учили не говорить. Я отметила и это: у такого человека, как он, и водитель должен быть из тех, кто не говорит.

Машина свернула с проспекта, нырнула под землю, в подсвеченный паркинг, остановилась у отдельного лифта с панелью под ключ-карту. Не «припарковались и пошли». Отдельный въезд, отдельный лифт, который поднимается только наверх и только для своих. Я ехала наверх в зеркальной кабине, одна, и считала этажи по тихому звону, и на последнем этаже сказала себе: всё. Дальше — он.

Машина привезла меня не в офис.

Я этого ждала. Человек, который пишет «не в чужом здании», ведёт тебя на свою территорию — туда, где стены работают на него. Я ждала офиса. Получила пентхаус.

Это был его первый ход, и хороший: показать мне, как я вхожу в его пространство. Поэтому, как человек входит в чужую дорожную комнату, видно почти всё — суетится, робеет, прицеливается, завидует. Я это тоже умею читать. Поэтому вошла так, чтобы не сказать ему ничего: не замедлила шаг, не задрала голову на потолки, не скользнула взглядом по цене. Вошла, будто комнаты нет.

Триста квадратных метров. Вид на Москва-Сити во всю стену — те самые башни, ночью, в огнях, снизу казавшиеся горой бриллиантов, а отсюда, сверху, лежавшие у его ног. Мебель, которой нельзя пользоваться, не думая о её цене. Винотека с подсветкой, как музейная витрина. Мои шаги по камню пола отдавались звонко — так звучат шаги только там, где мало живут.

И пусто.

Я выросла в двушке, где после папы стало пусто так, что пустота звенела. Я этот звук знаю наизусть. Я услышала его здесь сразу — под итальянской мебелью за полтора миллиона, под видом на пол-Москвы. Тот же самый звон. Звон жилья, в котором один человек и ничего живого. Человек, который давно перестал это замечать.

Я пришла к врагу домой и узнала свою собственную квартиру.

Это было первое, чего не было в расчёте.

Я отметила это и убрала. Не время.

— Софья, — сказал он.

Я обернулась — и впервые увидела его близко, не через зал, не на корпоративе через головы, а в двух шагах, в свете его собственных ламп.

Я десять лет строила его в голове и должна признать: я построила неправильно.

Он был выше, чем я держала в памяти. Тёмные волосы с проседью на висках — той ранней, которую дают не годы, а характер. Дорогая тёмная рубашка без галстука, рукава не закатаны, всё застёгнуто — человек, который не распускается даже дома. Лицо умное и усталое, с той скукой в глазах, которая бывает у тех, кто всю жизнь самый быстрый в комнате и кому от этого больше не интересно. Двигался он мало и точно, без единого лишнего жеста, как двигаются люди, экономящие себя.

Руки. Я почему-то отметила руки — длинные, спокойные пальцы, кисть, которая держала бокал так, будто бокал ничего не весит. Я не знала тогда, зачем отметила руки. Просто отметила. Я отмечаю всё.

— Глеб Сторожев, — сказала я.

Я произнесла его имя ровно. Десять лет я не произносила его вслух — держала внутри, как держат осколок, чтобы не порезаться. А сейчас сказала вслух, в лицо, спокойно, и ничего не случилось. Мир не треснул, потолок не упал. Голос не дрогнул. Я потом, дома, буду этим гордиться. Сейчас — просто отметила: работает.

Он показал мне на кресло у окна.

Я знаю этот приём — кресло у окна, человек садится, за спиной у него лучший вид, и вид сбивает его с мысли, делает мягче, разговорчивее. Я села спиной к окну. К виду. К Москва-Сити, ради которого, я уверена, сюда возят впечатлительных.

Я приехала не впечатляться. Я приехала считать.

Он заметил, что я выбрала не то кресло. Я видела, что заметил — мелькнуло в лице, одобрительно. Он сел напротив, по другую сторону низкого стола, и стал смотреть на меня так же, как я на него: оценивая.

Двое людей сели считать друг друга.

— Я видел вашу работу, — сказал он. Без предисловий. — Ту, со схемой распределения. Кто её делал, тот делал не за зарплату.

— А за что? — спросила я.

— За то, чтобы было красиво, — сказал он. — Таких мало. Я их собираю.

— Я не предмет, — сказала я. — Меня не собирают.

Уголок его рта дрогнул. Не улыбка — тень улыбки.

— Уже интереснее, — сказал он.

Он говорил так, как я и предполагала: ничего лишнего, каждое слово на месте, как деталь в хорошо собранном механизме. Он любил точное — это слышалось в том, как он строит фразу. И о моей работе он говорил как о красивой вещи, а не как о выгодной. Он не сказал «вы сэкономите мне денег». Он сказал «красиво».

Так о точном говорил мой папа.

Это было второе, чего не было в расчёте. Я убрала и это. Глубже.

Сорок минут он предлагал мне работу — настоящую, большие деньги, свою структуру, свои задачи. Он хорош в таких разговорах: показывает человеку дверь в комнату, в которую тот будто бы всегда хотел войти. Я задавала вопросы про дело, не про деньги. Не потому, что играла. Просто деньги мне правда не нужны — мне нужна одна вещь, и она не продаётся. Но мои вопросы про дело понравились ему ещё больше, чем понравились бы вопросы про деньги: он что-то такое отметил у себя, я видела.

Всё шло ровно. Слишком ровно.

А потом он сделал то, к чему я была готова, но не настолько рано.

Он чуть наклонил голову, посмотрел на меня внимательно — слишком внимательно — и спросил:

— Мы раньше не встречались?

В груди у меня что-то сжалось в одну холодную точку.

Вот оно. Он чувствует. Не помнит — чувствует. Где-то в нём лежит лицо моего папы, которого он никогда не видел живым, только строчкой в бумагах, — и моё лицо царапает его по этой строчке.

У меня было полсекунды. Я знала, что она будет, я её отрепетировала. Дрогнуть — зацепится. Ответить слишком быстро — зацепится тоже. Нужно ровно. Чуть-чуть с теплом. Так, чтобы закрыть тему, а не убежать от неё.

— Нет, — сказала я. — *Я бы запомнила.*

И улыбнулась. Немного. Первый раз за вечер.

Я не лгала. Это была чистая правда, просто прочитанная не в ту сторону.

Я бы запомнила.

Я помню его десять лет.

Он поверил. Я видела, как поверил, — отпустило плечо, чуть-чуть, и нитка, которая его царапала, на время улеглась. Он списал ощущение на то, на что списывают такие, как он: на то, что я ему просто интересна.

Я дала ему так подумать.

Я сказала, что подумаю до пятницы.

Он проводил меня до лифта сам. Я отметила и это — он не из тех, кто провожает; за сорок минут я уже знала, что он не из тех. Значит, зацепила. Хорошо. Зацепить было нужно. Всё шло по расчёту.

У лифта он сказал:

— Подумайте. Но вы уже решили.

— Откуда вы знаете? — спросила я.

— Вы сели спиной к лучшему виду в Москве, — сказал он. — Так садятся люди, которые приходят не смотреть, а работать. Вы уже работаете.

Двери открылись. Я вошла, не ответив. Он был прав, и мне не понравилось, как точно он прав.

В кабине я наконец осталась одна и посмотрела на своё отражение в тёмной зеркальной стене.

Спокойное лицо. Две косы. Очки. Та же тихая Климова, которая утром кивала Косте.

Я приехала к человеку, который убил моего отца. Просидела с ним сорок минут в полуметре. Слышала его голос, видела его руки, смотрела, как он говорит о красивом, — и не нашла в себе того, что искала десять лет.

Я искала ненависть.

Ненависть не пришла.

Пришло другое — тихое, неудобное, не предусмотренное ни одной строчкой плана: я узнала в нём себя. Пустую квартиру. Точность вместо жизни. Человека, который тоже когда-то что-то потерял и с тех пор только считает.

Лифт шёл вниз долго. Этажей много. За зеркальной стеной угадывался ночной город, к которому я спускалась обратно — на свою сторону.

Я смотрела на своё спокойное лицо и впервые за десять лет не была уверена, что довезу свой расчёт до конца с теми же ровными руками, с какими его начала.

Я отметила это.

И впервые в жизни не смогла убрать.

## Глава 4 : Без отмены

В пятницу я написала ему одно слово: «Да».

Он ответил через минуту: «Понедельник. Документы готовы». Без лишнего. Он всегда без лишнего — это в нём единственное, что мне не приходится в себе подавлять. С ним я могу молчать, и это не выглядит странно.

«Да» — это была не та кнопка, которую можно потом нажать обратно. Я это знала, когда писала. Я вообще не оставляю себе кнопок «обратно» — ни в работе, ни в плане, ни в себе. Кнопка «обратно» — это для тех, кто допускает, что передумает. Я не передумываю. Я слишком долго всё считала, чтобы в последний момент дать слабину.

По крайней мере, так было до сих пор.

Я написала это «Да» в пятницу, в обед, сидя за своим столом в опенспейсе, среди гула чужих разговоров и запаха чьего-то кофе. Одно слово, два символа. Я смотрела на него на экране секунду дольше, чем нужно, — так смотрят на черту, которую вот-вот переступят и которую назад не перешагнуть. Потом нажала «отправить». Самое большое решение моей взрослой жизни уместилось в два символа и ушло за полсекунды. Никто вокруг ничего не заметил. Костя за соседним столом грел обед.

Десять лет подготовки — и вот так буднично, в обеденный перерыв, между чужим кофе и микроволновкой, я открыла дверь, в которую шла всю эту жизнь.

Оставалось одно. Уйти из холдинга.

И значит — сказать Полине.

Полина пришла к нам в прошлом ноябре, чуть больше года назад, и нашла меня в углу опенспейса, где я научилась быть невидимой ещё до того, как это стало мне нужно для дела.

Она была первым человеком за много лет, который меня увидел.

Не как «тихую толковую девочку, которую надо поддерживать», — а по-настоящему. Она в первый же день сказала: «Соня, я тебя удочеряю», и я тогда не поняла, шутит она или нет. Оказалось — не шутит. Она пересадила меня к себе. Она дралась за мою зарплату на каждом ревью. Она один раз при мне сказала какому-то менеджеру, который меня перебил: «Ещё раз перебеёшь — будешь искать работу». Менеджер больше не перебивал.

Она не знала про меня ничего. Она просто решила, что я её человек, и стала меня защищать. Просто так. Я к такому не была приспособлена. Я до сих пор не приспособлена.

И вот к ней я и зашла в пятницу, под конец дня, когда этаж уже опустел и за окнами стоял ранний зимний вечер, чтобы сказать, что ухожу.

Её кабинет я знала наизусть — я просидела в нём год, за приставным столом, который она для меня и поставила, чтобы я была рядом. Фотография её и Артёма на тумбе. Чай, который она пьёт литрами. Бардак из бумаг, в котором она одна разбирается. Я стояла в дверях и вдруг поняла, что это единственное место в городе, где мне за два года было не страшно.

Полина подняла на меня глаза от монитора.

— Куда, — сказала она.

Не «куда?». «Куда». Так спрашивает человек, который уже понял, что ответа, который ему понравится, не будет.

— В другую структуру. Хорошее предложение. Я не могу назвать, пока не подписано, у них так принято.

Это была наполовину правда, и поэтому прозвучало гладко. Полу-правда всегда звучит глаже, чем чистая ложь. Я это умею. Я этим живу.

Полина смотрела на меня долго.

— Соня. Я тебя год с лишним знаю. Ты не уходишь за деньгами. Тебе деньги вообще не интересны — ты единственный человек в этом здании, который ни разу не пришёл ко мне просить прибавку, хотя я тебе её и так выбивала. Ты уходишь не за деньгами.

— Полина...

— Тебя кто-то перекупил под конкретную задачу. И ты мне не говоришь под какую. — Она прищурилась. — И ты не смотришь мне в глаза, а ты всегда смотришь, ты вообще жуткий человек по части смотреть в глаза.

Я заставила себя поднять взгляд.

Это было хуже, чем не смотреть.

Я тогда чуть не сказала ей.

Это правда. Впервые за десять лет я стояла перед человеком и чувствовала, как у меня внутри что-то тянет произнести вслух всё: про папу, про фирму, про год, в который он всё потерял, про имя Сторожев, которое я ношу в себе как осколок. Полина бы поняла. Полина бы, наверное, даже помогла — она из тех, кто помогает, не спрашивая цену.

И именно поэтому я не сказала.

Потому что если я скажу Полине — я её втяну. А Полина замужем за Артёмом, а Артём — один из тех троих, кто в две тысячи пятнадцатом подписал бумаги, по которым моего папу сделали крайним. Я не могу прийти к жене одного из них и сказать: «Твой муж помог убить моего отца, помоги мне с этим разобраться».

Это не её счёт. Это мой.

Я свои счета не перекладываю. Это у меня тоже от папы — он ни разу в жизни ни на кого ничего не переложил. За что и поплатился.

— Я не могу рассказать, — сказала я. — Прости. Это не про тебя. Ты единственное хорошее, что со мной тут случилось.

Полина моргнула. Я первый раз увидела, как у неё блестят глаза.

— Это звучит как прощание, Соня. Не как «увольнение». Как будто ты не работу меняешь, а уезжаешь куда-то, откуда не возвращаются.

Она была права. Она пугающе часто бывает права — недаром Артём в неё влюбился.

Я ничего не ответила. Любой ответ был бы либо ложью, либо правдой, а я не могла себе позволить ни того, ни другого.

Полина встала, обошла стол и обняла меня. Крепко, неудобно, не как обнимают коллегу на прощание, а как обнимают своего — всем телом, не отпуская. От неё пахло её духами и тем чаем, который она пьёт литрами. Я стояла, уткнувшись в её плечо, прямая, как палка, потому что я разучилась, что делать руками, когда тебя обнимают. Меня не обнимали так с тех пор, как не стало папы. Десять лет. Я забыла, что у этого вообще есть температура — что живой человек тёплый.

— Если этот твой «кто-то» тебя обидит, — сказала она мне в макушку, — ты возвращаешься. Слышишь? Дверь открыта. Я их *убиваю*, ты помнишь правило.

Я кивнула ей в плечо.

Я не сказала, что «этот кто-то» — это и есть тот, кого я пришла убить я сама. И что дверь, в которую она велит мне вернуться, я закрываю за собой своими руками. Без отмены.

Игорь ждал меня у лифтов.

Лифтовый холл в этот час был пуст и тих, горела половина ламп, и его крупная неподвижная фигура в дорогом сером свитере стояла там так, будто стояла всегда, — он ведь и правда стережёт эти холлы, это его место, его этаж под ним и над ним. Не специально — он там не «ждёт», он там просто бывает, как погода. Но в тот вечер он стоял так, что мимо него было не пройти, и смотрел на меня своим тяжёлым, медленным взглядом, в котором никогда ничего не прочитать, кроме того, что он уже всё прочитал сам.

— Климова, — сказал он.

Не «Гущина». При людях он зовёт меня по легенде. Это у нас с ним негласное: на людях я Климова, и он мой секрет держит так же ровно, как держит всё остальное в этом здании.

— Игорь Андреевич.

— Говорят, уходишь.

— Ухожу.

— *К нему.*

Это не был вопрос. Он знал. Конечно, он знал — он единственный, кто знал с самого начала, к кому я иду, ещё тогда, год с лишним назад, когда сказал мне в коридоре мою настоящую фамилию.

Я не стала отрицать. Ему — нет смысла.

— Я тебя не остановлю, — сказал он тихо. — Я понял ещё год назад, что тебя нельзя остановить. Тебя можно только проводить взглядом. Я и провожаю.

— Зачем, — спросила я. И сама удивилась, что спросила. Я редко спрашиваю «зачем» — обычно я и так знаю.

Игорь помолчал.

— Потому что мы тебе должны, — сказал он. — Я, Артём, Кирилл. Мы в пятнадцатом поступили чисто по бумагам. А твой отец заплатил по-настоящему. Я не могу это отменить. Но я могу хотя бы видеть, куда идёт тот, кому мы должны. Чтобы потом не говорить, что не знал.

Я смотрела на него.

Он был врагом. По всем моим расчётам он был из тех четверых, и значит — враг. Но он стоял передо мной и впервые за десять лет кто-то из тех, кто разрушил мою жизнь, говорил мне «мы тебе должны» и не отводил глаз.

Это сбивало расчёт. Сильнее, чем пустой пентхаус Глеба. Сильнее всего.

— Лифт, — сказала я, потому что больше ничего сказать не могла.

Он отступил в сторону. Двери открылись.

— Гущина, — сказал он мне в спину, уже тихо, уже моей настоящей фамилией. — Если когда-нибудь захочешь не довести это до конца — я на двадцать четвёртом. Дверь открыта.

Сегодня мне про открытую дверь сказали два человека.

Я закрыла *обе*.

И поехала вниз — мимо всех этажей этого здания, в котором меня держали за тихоню и в котором единственный человек обнял меня сегодня так, что я разучилась дышать, — вниз, к выходу, к зимней улице, к понедельнику, к документам и к человеку, к которому я шла десять лет.

*Без отмены.*



## Глава 5 : Чужой дом изнутри

В понедельник в восемь утра я первый раз вошла в его контору не гостьей, а своей.

Она занимала верх отдельного, не самого высокого здания недалеко от Сити — не в общих башнях, а рядом, через дорогу, чтобы оттуда было видно башни. Я отметила это сразу. Человек, которого вытолкнули из тех башен, снял этаж напротив, чтобы каждый день смотреть на них из своего окна. Он не убежал от них. Он сел напротив и стал считать.

Внутри контора была на него похожа: дорогая, холодная, без единой лишней вещи. Стекло, бетон, светлый камень, свет, который шёл ниоткуда и не давал теней. Ничем не пахло — ни едой, ни кофе, ни людьми; в обычном офисе всегда чем-то пахнет, а здесь будто включили фильтр и на запахи тоже. Тихо. Не как в опенспейсе у Полины, где гудят кулеры и смеются у кофемашины, — а тихо по-настоящему, так, что слышно, как работает кондиционер.

Людей мало — он не любит толпу, я это уже поняла. Человек десять, каждый на своём месте, каждый знает ровно свой кусок и ни сантиметром больше. Я прошла мимо них следом за девушкой с гарнитурой, и они проводили меня одинаковым коротким взглядом — тем, каким провожают нового, про которого ещё не решили, бояться его или нет. Молодой парень у дальнего окна, худой, с тревожным лицом, посмотрел дольше других и быстро отвёл глаза, когда я поймала взгляд. Я запомнила его, как запоминаю всех. (Потом я узнаю, что его зовут Лёша и что он боится Глеба больше остальных.)

Я с порога увидела то, что про него говорит больше, чем весь его пентхаус.

Он построил всё так, чтобы целое держал в голове он один.

Это видно по тому, как нарезана работа: каждому — узкая полоса, и ни у кого, кроме него, нет картинка целиком. Это красиво. И это его слабое место — то самое, ради которого я сюда и шла.

Я пришла не просто к нему. Я пришла за тем, что лежит только здесь, внутри его дел, — за свежим, нынешним, доказуемым. У меня про него уже есть пятнадцатый год, собранный давно. Но пятнадцатый год — это старое, это можно списать на срок давности, на «молод был», на «времена такие». Чтобы добыть наверняка, мне нужно было новое. Я пришла его добыть — и положить туда, где оно дождётся своего дня.

Я знала, где эта опора. Я знала это ещё до того, как переступила порог.

Меня посадили не в общий зал.

Девушка с гарнитурой провела меня мимо всех и открыла дверь в маленький кабинет рядом с его собственным. Стол, кресло, пустые полки, на которых ещё ничего моего. И стена — стеклянная. Я видела его стол. Он видел мой.

— Глеб Сергеевич сказал, вы работаете здесь, — сказала девушка таким тоном, будто это великая честь, которой удостоивают не каждого. Для них, видимо, так и было — я заметила, как она это произнесла: с придыханием, с которым в этой конторе, кажется, произносят только его имя.

Я кивнула, села, поставила сумку. Достала ноутбук, расставила немного своё — без фотографий, без чашки, без всего, что бывает у людей на столах; у меня никогда не было на столе ничего личного, личное — это след, а я следов не оставляю.

И отметила, спокойно, как отмечаю всё: он держит меня в полуметре от себя, за прозрачной стеной. Не в общем зале, где я была бы одной из десяти. Рядом. Под рукой.

Я не обольщалась. Так держат не любимиц. Так держат то, что не хотят выпускать из поля зрения, — ценное или опасное, а чаще и то и другое сразу. Он сам так живёт: смотрит на чужие этажи, чтобы не терять их из виду. Теперь он посадил меня за стекло по той же причине, по которой смотрит в окно.

Глеб Сторожев держал под присмотром всё, что считал важным.

Он только не знал, что важное в этот раз смотрит в ответ.

День прошёл странно — буднично и невыносимо одновременно.

Буднично, потому что это была просто работа: мне дали задачу, доступы, я разбиралась, как у них тут всё устроено, привыкала к чужим обозначениям, к чужому порядку. Обычный первый день обычного человека на новом месте. Никто не мешал. Ко мне подходили дважды — что-то уточнить, — и оба раза говорили со мной коротко и настороженно, как говорят с тем, кого посадил рядом с собой хозяин: вдруг ты теперь сила.

А невыносимо — потому что весь день он был в полуметре за стеклом.

Я никогда не работала так — на виду у того, за кем охочусь, в постоянном чувстве его присутствия сбоку. Он сидел за своим столом, читал, говорил по телефону, кого-то вызывал, и я боковым зрением видела всё: как он подпирает висок, как откидывается в кресле, когда думает, как раздражённо снимает очки для чтения, когда собеседник в трубке тупит. Между нами было стекло и полтора метра, и весь день я чувствовала его, как чувствуют солнце сбоку, — не глядя, кожей.

Несколько раз я ловила, что он смотрит на меня сквозь стекло. Не разглядывает — проверяет, как проверяют, на месте ли важная вещь. Я не поднимала головы. Пусть смотрит. Пусть привыкает, что я тут, что я часть пейзажа, что меня можно не опасаться.

Один раз, ближе к вечеру, он встал, подошёл к стеклу с той стороны, посмотрел на мой экран — на то, что я делаю, — и коротко кивнул. По-настоящему кивнул. Как кивают *равному*, у которого получилось красиво.

Я отметила, что этот кивок мне приятен.

*И отметила, что отметила.*

Дважды за день — нехорошо.

А ещё за этот день, не отрываясь от работы, я узнала про его дело больше, чем он думает, что можно узнать за день.

Я не лезла никуда, куда не пускали. Мне и не надо было лезть. Когда тебе дают маленький кусок работы, в этом куске видно всё остальное — как по одной кости собирают зверя целиком. Мне дали мой кусок, и я по нему за день собрала зверя. Куда уходят деньги. Откуда приходят. Где у него всё чисто — а где слишком чисто, так чисто, как бывает только тогда, когда кто-то очень старался, чтобы было чисто. Вот оно — то, за чем я пришла. Свежее. Сегодняшнее. То, что можно добавить к старому.

Я не буду объяснять подробности — они скучные и не мои. Скажу одно: он не стал святым за эти десять лет. Человек, который один раз решил, что правила — для тех, кто не умеет их обходить, не перестаёт так думать; он просто стал делать это аккуратнее.

И значит, мне есть что добавить к тому, что уже лежит и ждёт. Письмо своё я заперла три года назад так, что не могу его ни остановить, ни отозвать, ни сдвинуть тот день. Одно я могу — дописать. Дополнить. Положить сверху новое. Убрать — нельзя; добавить — можно. Я нарочно так сделала: чтобы будущая я могла только усилить удар, но никогда не смягчить

Аккуратнее — для меня не препятствие.

Аккуратность — мой родной язык.

К концу дня у меня в голове было всё, что нужно. Оставалось только то, что было нужно уже давно и без всякого этого дня.

Я живу в однокомнатной на окраине, которую снимаю пять лет и в которой нет почти ничего. Кровать, стол, два стула, книги стопками на полу. Я не покупаю уют — уют привязывает, а я не собиралась тут задерживаться дольше, чем нужно для дела. Когда я прихожу, квартира встречает меня той же звенящей пустотой, что и всегда. Раньше она меня не трогала. Я к ней привыкла, как привыкают к фоновому шуму.

В тот вечер, дома, не сняв пальто, я села к столу и открыла то, что не открывала несколько недель.

Свой *выключатель*.

Я не буду рассказывать, как он устроен, — это единственное, чего я не расскажу никому и никогда. Скажу только, что я собрала его три года назад, когда ещё не знала ни этого кабинета, ни стеклянной стены, ни его кивка. Я собрала его в те дни, когда была чистым расчётом без единой трещины, и сделала ровно то, что должен сделать человек, который боится сам себе помешать.

*Я убрала кнопку «отмена».*

Не спрятала. Убрала. Так, чтобы её не было даже у меня. Чтобы будущая я — если она вдруг дрогнет, разжалобится, испугается, влюбится, сойдёт с ума, заболеет, передумает — не смогла остановить то, что нынешняя я считаю правильным. Я не доверяла будущей себе. Я знала, что время размыкает людей, и не собиралась дать ему размыть меня.

Тогда это казалось самым умным, что я когда-либо делала.

Сегодня я первый раз за три года села и попробовала найти эту кнопку.

Просто посмотреть. Просто проверить, на месте ли всё. Так я себе сказала.

Кнопки не было.

Я знала, что её не будет. Я сама её убрала. И всё равно сидела и смотрела в экран в тёмной пустой квартире, и где-то под рёбрами у меня медленно, незнакомо, неприятно затягивался узел, которого там никогда раньше не было.

Я отдернула руки. Посмотрела на них.

В первый раз за десять лет они были не совсем ровные.

Я закрыла всё и долго сидела в темноте, в пальто, не зажигая света.

Я сказала себе правду, потому что себе я не вру — это роскошь, которую я не могу себе позволить.

Правда была такая.

Я не пошла искать кнопку, чтобы «просто проверить». Я пошла искать кнопку, потому что сегодня, в его холодной конторе, за стеклянной стеной, я полдня проработала в полуметре от него — и мне было хорошо.

Не торжествующе. Не «добыча близко». А просто хорошо — так, как мне не было хорошо рядом с человеком очень, очень давно. Он не пытался меня разговорить. Не считал меня глупой. Посмотрел сквозь стекло на то, что я делаю, и кивнул, коротко, по-настоящему, как кивают равному.

И я поймала себя на том, что этот кивок мне приятнее, чем должно быть приятно от человека, которого я пришла уничтожить.

Вот зачем я пошла искать кнопку.

Я искала её не для дела.

Я искала её для себя.

И не нашла.

Это, сказала я себе в темноте, очень хорошо, что не нашла. Это значит, что я всё сделала правильно три года назад. Это значит, что какой бы дурой я ни стала, дело будет доведено до конца помимо меня.

Я повторила это себе дважды.

И ни разу не поверила.

## Глава 6 : Ещё не сейчас

В четверг он не отпустил меня в семь.

— Останьтесь, — сказал он, не отрываясь от экрана. — Полчаса. Хочу, чтобы вы посмотрели на одну вещь до того, как я её подпишу.

Это не было просьбой, и это не было приказом. Это было третье — то, как разговаривают люди, привыкшие, что остаются. Я осталась. Не потому, что он привык. Потому что мне это было нужно: чем дольше я рядом, тем больше вижу. Так я себе сказала.

Контора опустела медленно, как опустевает театр после спектакля. Сначала ушли двое, потом ещё трое, потом тревожный Лёша, который всегда уходит, оглядываясь, будто забыл что-то важное и боится спросить. Каждый кивнул Глебу в спину — он не ответил никому. За стеклом гасли лампы, одна секция за другой, пока не остались гореть только две: над его столом и над моим. Город за окном уже горел всюду — мы сидели высоко, и башни напротив светились прямо в наши окна.

Когда стекло между нами перестало отражать чужие силуэты, он встал, прошёл ко мне с двумя бокалами и бутылкой и сел напротив, по другую сторону стола, как садятся не к подчинённому.

— Вы не пьёте на работе, — сказала я.

— Я не пью с теми, с кем мне скучно, — сказал он. — Это не одно и то же.

И налил мне, не спросив, хочу ли я.

Мы говорили час.

Не о личном — мы оба не умеем о личном, я это поняла про него сразу, как узнают своё. Мы говорили о деле. О той вещи, которую он хотел подписать. Я нашла в ней изъян за четыре минуты — маленький, который никто из его десяти не увидел, — и сказала ему. Он замолчал. Посмотрел. Перечитал. И не стал делать вид, что заметил сам.

— Да, — сказал он просто. — Вы правы. Я бы это пропустил.

Я знаю цену таким людям. Их мало. Человек, который умеет сказать «вы правы» тому, кто младше, тише и стоит ниже, — редкая порода. Я всю жизнь работала с теми, кто скорее проглотит ошибку, чем признает её при девочке в очках.

Он не глотал. Он признавал. И от этого было только хуже — потому что ненавидеть тупого легко, а этот не был тупым.

Он рассказал — мельком, между делом — про три этажа в чужих башнях, на которые смотрит из окна. Не жалуясь. Как факт. «У меня есть незакрытый счёт, и я из тех, кто счёта закрывает». Я слушала человека, который десять лет живёт ровно тем же, чем живу я, — счётом, — и сказала ему ровно: «Понимаю». И это была чистая правда, прочитанная не в ту сторону, как всегда.

Я держала голову весь час. Голова была холодной и ясной. Голова презирала его — за пятнадцатый, за строчку вместо человека, за то, что он сидит тут в своём дорогом свитере и не помнит, кого он стёр, чтобы сидеть.

А потом он потянулся налить мне второй бокал, и рукав его свитера задрался, и я увидела его запястье.

Я не знаю, как это объяснить так, чтобы это не звучало глупо.

Я посмотрела на его руки — и перестала слышать, что он говорит.

Не потому, что он сказал что-то важное. Наоборот — он говорил что-то незначущее, про вино, кажется. А я смотрела, как двигается его кисть, как он держит бокал за ножку двумя пальцами, точно и небрежно одновременно, и у меня под кожей прошло что-то, чего я не звала. Тёплое и тяжёлое. Совершенно мне неподвластное.

Я отвела глаза. Посмотрела в окно. Сосчитала про себя до десяти — медленно, как учат считать, чтобы не сорваться.

Не помогло.

Он наклонился ближе через стол, чтобы поставить бокал передо мной. В пустой тихой конторе, где горели только две лампы и светились башни напротив, расстояние между нами вдруг стало коротким, как вдох. Я близко, слишком близко, услышала, как он пахнет — деревом, чем-то горьковатым, дорогим, — и почувствовала тепло, которое идёт от человека, когда он рядом, и моё тело отозвалось на это раньше, чем я успела ему запретить. Раньше головы. Помимо головы. Через голову.

Я пришла в холодную ярость.

Это была не нежность — я знаю, как выглядит нежность, я её боюсь, я её сторожу в себе, как сторожат течь. Это было хуже. Это было животное, глупое, безмозглое притяжение к мужчине, у которого красивые руки и низкий голос, — переменная, которую невозможно посчитать, потому что она не в голове, а в крови, и крови наплевать, кто он и что он сделал моему отцу.

Я десять лет вычищала из себя всё лишнее. Гнев. Спешку. Жалость. Я думала, что вычистила всё.

Я не подумала про это.

Я сидела напротив человека, которого пришла уничтожить, и хотела, чтобы он коснулся моей руки.

И это сбивало меня с толку сильнее, чем что-либо за десять лет.

Он что-то спросил. Я не расслышала. Я кивнула наугад и ушла в себя — туда, куда ухожу, когда мне нужно вернуть холод. Я делаю это так: беру что-нибудь твёрдое, считаное, своё — и прохожу по нему шаг за шагом, пока кровь не уймётся.

В тот вечер я взяла самое твёрдое, что у меня есть.

Свой выключатель.

Я объясню его себе так, как объяснила бы ребёнку. Я и собирала его для ребёнка — для той дуры, которой однажды могла стать. Вот для этой, сегодняшней, которая пялится на чужие руки.

Есть письмо. Большое. В нём — пятнадцатый год: что он сделал тогда, как сделал крайним моего отца, как увёл всё на него и на тех, кого не жалко. Всё, с бумагами, с цифрами, доказуемо. Это письмо лежит не у меня. Я нарочно положила его туда, откуда сама его не достану, как бы ни захотела. Достать, остановить, отменить — не могу.

Одно мне оставлено: *добавить*. Дописать новое, если найду, — а я для того и сижу теперь в его конторе, чтобы найти. Убрать нельзя; дополнить можно. Так я устроила нарочно: чтобы будущая я, какой бы слабой ни стала, могла только добить, но не пощадить.

И у письма есть день.

Я выбрала его три года назад. Конкретный день, далеко вперёд, — тогда он казался далёким, как другая жизнь. В этот день письмо уйдёт само: в надзор, в газеты и ему, Северову, сразу всем. Мне не нужно ничего нажимать, ничего подтверждать, ни о чём не нужно помнить. Не нужно его кормить, сторожить, продлевать. Оно не ждёт от меня действий. Оно просто ждёт свой день. Как поезд по расписанию, на рельсах которого я зачем-то легла три года назад.

И главное. Этот день нельзя ни отменить, ни передвинуть. Ни приблизить, ни отодвинуть. Кнопки «никогда» в нём нет — я её не сделала. Нарочно. Я знала, что когда-нибудь захочу всё остановить, и сделала так, чтобы захотевшая остановить «я» ничего не могла. Чтобы между моим сегодняшним малодушием и письмом не было ни единого рычага. Только дата. Глухая, как стена. Назначенная той, которой я была три года назад, — умной, холодной, не верившей будущей себе ни на грош.

Я была права, что не верила.

Вот она я. Будущая. Сижу и хочу, чтобы он коснулся моей руки.

Если бы у меня был способ отменить тот день — я не уверена, что сегодня вечером не отменила бы.

И поэтому хорошо, сказала я себе, что способа нет.

«Ещё не сейчас», — сказала я себе. Не письму — себе. Это не команда, письму мои команды не нужны. Это всё, что мне осталось ему противопоставить: пока день не настал, у нас ещё есть время. Ещё не сейчас. Ещё немного.

Я повторила это дважды.

И во второй раз мне стало по-настоящему страшно — потому что я поняла, что говорю «ещё не сейчас» уже не про казнь врага. А про то, сколько мне ещё осталось не трогать его руку.

— Соня.

Он назвал меня коротким именем. Первый раз. Не «Софья».

Я вернулась из себя. Кровь унялась — я загнала её обратно своим выключателем, своим единственным по-настоящему холодным местом. Я снова была собой. Голова ясная. Руки на коленях.

— Поздно, — сказала я. — Мне пора.

Он посмотрел на меня внимательно — тем самым взглядом, которым в первый вечер чуть не вспомнил то, чего не может вспомнить. Я выдержала. Я теперь умею выдерживать этот взгляд.

— Да, — сказал он. — Идите. — И, когда я уже встала: — Оставайтесь завтра тоже. Вы видите то, чего не видит никто.

«Вы видите то, чего не видит никто».

Знал бы он, что именно я вижу.

Я ехала домой и злилась — ровно, холодно, всю дорогу. Не на него.

На себя. На свои руки. На свою кровь, которой наплевать на десять лет.

Дома я, не снимая пальто, постояла у тёмного окна и сказала себе «ещё не сейчас».

Не письму — письму всё равно, оно знает свой день и без меня. Себе. Я отсчитывала не казнь врага. Я отсчитывала, сколько мне ещё осталось до того дня, когда всё кончится само, помимо меня, — и впервые за десять лет этот отсчёт не радовал, а пугал.

Раньше я ждала тот день, как ждут конца пути.

Сегодня я впервые поймала себя на том, что хочу, чтобы рельсы оказались длиннее.

## Глава 7 : Тело

Вечера повторялись, и я перестала считать, сколько их было.

Это пугало само по себе — я считаю всё, я не теряю счёт ничему, а тут потеряла. Дни слиплись в один длинный декабрьский вечер: контора пустеет, гаснут лампы секциями, остаются две — над его столом и над моим, башни напротив горят в чёрных окнах, и мы вдвоём над одним листом, над одним бокалом, над одним разговором, который всё реже про дело.

Он оставлял меня после семи — каждый раз под предлогом, и каждый раз предлог был тоньше, пока не истёрся совсем, и мы оба перестали делать вид, что я остаюсь ради работы. Я приходила в восемь утра и весь день, краем сознания, ждала, когда стрелка дойдёт до семи и уйдёт последний из десяти. Я, которая десять лет не ждала ничего, кроме одного дня, теперь ждала каждый вечер.

Я знала, что это значит. Я не дура. Я просто впервые в жизни знала и не могла остановить — как смотришь на цифру, которая не сходится, и пересчитываешь третий раз, и она всё равно не сходится.

Голова у меня была в порядке. Голова работала, как всегда. Я по-прежнему презирала его — умом, ровно, без скидок. Я по-прежнему знала про тот день, который назначила три года назад и который приближался сам, без меня, в глухой тишине, как поезд по расписанию. Я по-прежнему знала, чем всё это кончится для него.

А тело меня предавало.

В тот вечер он сидел напротив, ближе, чем нужно, и говорил что-то, и я не слышала ни слова.

Я смотрела на его рот.

Я ловила себя на этом весь последний час и отводила взгляд, и через минуту снова смотрела на его рот — как он произносит слова, как двигается нижняя губа, — и думала совершенно конкретные, ясные, неприличные вещи о том, что этот рот мог бы сделать. Не туманно. Прямо. Я вообще всё думаю прямо — это моё проклятие: я не умею думать намёками, я думаю до конца, по пунктам, и сейчас мои пункты были про то, как его рот идёт по моей шее вниз.

У меня горело лицо. У меня — у человека, у которого десять лет не горело ничего.

Он наклонился через стол — взять бумагу, обычное движение, — и оказался так близко, что я почувствовала его тепло кожей лица, и мой пульс сорвался. Не дрогнул — сорвался, в горло, в виски, вниз. Я сидела очень прямо и очень тихо и слышала собственное сердце так громко, что испугалась, что он услышит тоже.

Я хотела, чтобы он не выпрямлялся.

Я хотела, чтобы он остался вот так, близко, и сделал то, чего я не позволяю себе даже додумать, — и одновременно холодная, ясная часть меня смотрела на это сверху и говорила: посмотри на себя. Посмотри, во что ты превращаешься. Из-за чего. Из-за кого.

*Я хотела его.*

Это правда, которую я не могла обойти. Не «он мне симпатичен». Не «он интересный». Я хотела его телом — грубо, просто, до низа живота, так, как, я думала, со мной вообще не бывает, потому что со мной этого не было никогда. Я хотела, чтобы он перестал говорить, обошёл этот идиотский стол, поднял меня и сделал со мной всё, что я себе по пунктам расписала, пока он думал, что мы обсуждаем дело.

Я наклонилась к нему — сама, чуть-чуть, на пару сантиметров, не решив этого головой. Тело решило за меня. Тело наклонилось к теплу, как наклоняется всё живое.

И на этих двух сантиметрах я себя поймала.

Я выпрямилась так резко, что он поднял на меня глаза.

— Что-то не так? — спросил он.

Всё, хотела сказать я. Всё не так. Я сижу напротив тебя, мокрая ладонями, с колотящимся сердцем, и хочу, чтобы ты меня раздел, а через несколько недель ты будешь уничтожен, и сделаю это я, и я знала это, когда хотела, чтобы ты меня раздел.

— Душно, — сказала я. — Можно открыть окно?

Он встал и открыл сам. Декабрь вошёл в комнату ледяным сквозняком, и я подставила ему лицо, и шею, и руки, и дышала холодом, как дышат после того, как чуть не утонул.

Холод — это моё. Холод я понимаю. Холод можно посчитать.

А то, что творило со мной его тепло на расстоянии вытянутой руки, посчитать было нельзя, и именно это пугало меня до настоящего, животного ужаса — сильнее, чем мой собственный выключатель, сильнее, чем то, что я делаю, сильнее всего.

Я десять лет вынимала из себя всё, что мешало довести расчёт до конца. Гнев. Жалость. Страх. Я стала чистой и точной, как хороший инструмент. Я думала, что во мне больше нечего вынимать.

А внутри, оказывается, всё это время сидело тело. Молодое, голодное, ничего не знающее про пятнадцатый год. Тело, которому двадцать пять и которое ни разу за эти двадцать пять лет толком не жило, потому что я ему не разрешала, — и оно сейчас впервые требовало своё, громко, бесстыдно, не слушая никаких моих доводов про отца, про счёт, про то, кто этот человек у окна.

Телу было всё равно, кто он.

Телу он нравился.

И я ненавидела своё тело за это так, как никогда никого не ненавидела, — даже его.

Я ушла в тот вечер, не дождавшись, пока остынет.

Я почти выбежала — собрала сумку слишком быстро, сказала про метро какую-то ложь, не глядя на него, потому что если бы посмотрела, то увидела бы его рот, а если бы увидела рот, я за себя не отвечала.

В лифте я прислонилась лбом к холодному зеркалу.

Лицо горело. Под ним — то же спокойное лицо: две косы, очки, тихая Климова. А под лицом — пожар, которого никто, глядя на меня, не заподозрил бы. Я всегда этим гордилась — тем, что под моим лицом не видно ничего. Сегодня я впервые поняла, как это работает с другой стороны: можно сгорать заживо и выглядеть как девочка, которая боится метро.

Дома я разделась сама. Холодно, зло, по-деловому. Встала под душ и сделала воду такой, чтобы стучало по коже, чтобы выбило из меня это, чтобы вернуть себе своё единственное состояние, в котором я работаю, — холод.

Не выбило.

Я стояла под водой и хотела его. Тупо, телесно, без всякого разрешения сверху. И знала, что завтра приду в восемь, и буду ждать семи, и снова буду смотреть на его рот.

Я вышла, не вытираясь, мокрая, села на край кровати в тёмной комнате.

И сказала вслух, в пустоту: «Ещё не сейчас».

Письму это не нужно — письмо знает свой день и без меня, его не отозвать и не отодвинуть, ему всё равно, что я тут шепчу. Я говорила это себе. Сквозь зубы, со злостью. Это было единственное холодное, твёрдое, моё, за что я могла сегодня держаться, чтобы не сойти с ума: напомнить себе, что тот день ещё не настал. Что у меня ещё есть время.

Раньше «ещё не сейчас» означало «потерпи, скоро он заплатит».

В ту ночь, мокрая, злая, с колотящимся где-то очень низко сердцем, я впервые услышала в этих словах другое.

Ещё не сейчас.

Ещё немного его.

Ещё держусь.



## Глава 8 : Не всплыло

[ Глеб ]

Я не сразу понял, что начал ждать вечера.

Это нехороший признак. Я много лет живу так, чтобы не ждать ничего и никого, — ожидание делает человека уязвимым, ожидание — это маленький рычаг, за который тебя в нужный момент возьмут и повернут. Я этот рычаг в себе срезал давно. Я ничего не жду. Мне приносят, я беру.

А тут поймал себя на том, что в шесть начинаю поглядывать на стеклянную стену между нашими кабинетами — там ли ещё она, не собралась ли уйти. Я устроил эту стену, чтобы держать её в поле зрения, как держу всё важное. А ловлю себя на том, что смотрю сквозь неё не как надзиратель, а как мальчишка, который считает минуты до конца уроков. В шесть. В половине седьмого. Без четверти семь, когда мои десять начинают собираться и гасить лампы. Я жду, когда они уйдут и мы останемся вдвоём в пустой конторе, над городом, при двух лампах.

Я понял, что жду. Впервые за много лет — *жду человека*.

Меня это разозлило. А потом, к собственному удивлению, перестало злить.

Это второе было хуже первого.

Я возил людей домой не больше пяти раз в жизни. Дом — это позиция, а позицию не показывают.

Её я привёз в первый же вечер. И до сих пор не понимаю зачем.

То есть понимаю — я всё про себя понимаю, это моё единственное настоящее имущество. Я привёз её, потому что она написала ту работу.

Мне принёс её мой человек — кусок чужой работы из недр холдинга Северова, между делом, в общем списке. Я открыл её поздно вечером, дома, у окна, с бокалом, без всякого ожидания — так листают почту перед сном. И забыл про бокал. Я сидел и читал её, как читают не отчёт, а письмо от человека, которого узнал. Я в своей жизни видел три, может, четыре такие вещи. Чисто, точно, ни одной лишней детали — так строит тот, для кого аккуратность не профессия, а способ дышать. У меня даже что-то сжалось внутри, чего давно не сжималось: зависть пополам с радостью, как у старого музыканта, который вдруг услышал, что где-то ещё умеют играть чисто.

Я такое узнаю с первого взгляда. У меня по образованию инженерная голова, на верхней полке дома десять лет стоит трёхтомник, который я купил мальчишкой и до сих пор иногда снимаю, и я давно живу с простым убеждением: некрасивое не бывает правильным. Уродство — это всегда ошибка, спрятанная под слоем оправданий. Мир в основе устроен красиво. Кто строит красиво — тот не врёт.

Эта девочка строила *красиво*.

И это было единственное, чему я в людях по-настоящему верю.

Я навёл справки. Питер, мать, институт, два года у Северова, ровное прошлое, гладкое, как стёртая монета. Слишком гладкое. У живых людей так не бывает. Я люблю слишком гладкое — за ним всегда что-то прибрано, а я уважаю тех, кто умеет за собой прибирать. Мы одной породы.

Я и привёз её, чтобы рассмотреть породу вблизи.

А теперь не отпускаю по вечерам и вру себе, что это всё ещё про породу.

Она сидит напротив и не боится меня.

Этого я не встречал давно. Меня бояться — не потому, что я страшный, а потому, что я быстрый: люди чувствуют, когда собеседник просчитывает их быстрее, чем они успевают открыть рот, и им делается неуютно. Они начинают суетиться, доказывать, нравиться.

Она не доказывает и не нравится. Она сидит ровно, руки на коленях, и считает меня в ответ — я это вижу, я же сам так делаю. Мы сидим друг напротив друга, двое людей, которые в любой комнате считают выходы, и каждый знает про другого, что тот считает, и от этого почему-то не холодно, а наоборот.

Я показал ей работу, которую собирался подписать. Она нашла изъян за четыре минуты. Маленький, мерзкий, такой, что обошёлся бы мне в неприятный разговор через полгода. Никто из моих десяти его не увидел. Я плачу этим десяти очень хорошо.

— Да, — сказал я ей. — Вы правы. Я бы это пропустил.

Я давно никому такого не говорил. Мне понравилось говорить ей правду. Это почти забытое ощущение — не выбирать слова.

И я поймал себя на том, что хочу, чтобы она осталась подольше. Не из-за изъяна. Из-за того, как она наклоняет голову, когда слушает. Из-за её рта, который почти не двигается, когда она говорит, — будто она экономит даже на этом. Из-за того, что под стеклянным холодом этой девочки горит что-то, чего она сама, кажется, до смерти боится, — и мне, дьявол меня дери, захотелось узнать, что именно.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.